

Ответ пришел в воскресенье вечером: Иван Ильич нашел в сетевом облаке принтер и распечатал красный шестигранный ярлычок.

– Набери мне Просю, – крикнул он в айфон. Айфон в ответ слегка ударил его током – «Ведь хотел починить, – подумал Иван Ильич, – а теперь вот и незачем», – и через секунду в воздухе задрожало бледное лицо.

– Прося, – сказал Иван Ильич жене, – давай домой. Будем наливку пить.

– Вызвали? – спросило лицо.

Иван Ильич улыбнулся:

– Дома узнаешь.

Лицо улыбнулось тоже – и тотчас пропало. Иван Ильич подождал, пока ярлычок в лотке принтера остынет, потом повертел его в пальцах и отправил в нагрудный карман. Карман оттянулся, ярлычок темнел сквозь хлопковую ткань.

«Вот и славно», – сказал себе Иван Ильич и пошел в кухню, составляя в уме закуску: сморчки по-селянски, перцы с творогом, паштеты, копченый омуль – и вдруг: «Странно как, ей-богу, странно думать об омуле, когда такое», – но других мыслей не было, и Иван Ильич продолжил об омуле.

Прасковья Федоровна пришла через полчаса. Иван Ильич успел распорядиться насчет стола и теперь, сидя у лампы, держал на ладони ярлычок – точно взвешивал.

– Красный? – спросила Прасковья Федоровна, хотя видела – и даже знала заранее, что красный.

Потом сели, съели омуля и сморчков, выпили наливки. Прасковья Федоровна хотела сказать соответственно случаю, но чего говорить и как – не знала: только смотрела на ярлычок, помещенный Иваном Ильичом на самый верх этажерки с яблоками.

«Вот ведь и красный в придачу, – подумала она, – а я красного сродясь не любила».

Вслух же сказала:

– Ну, Ванюша, какого дня вызов-то?

– Во вторник, – ответил Иван Ильич, утираясь салфеткой. – Еще завтра, чтобы мысли собрать, – и во вторник пожалуйста.

Прасковья Федоровна кивнула, с минуту ковыряла ложкой в паштете, потом спросила:

– А не страшно, Вань? – и тотчас поняла, что зря. Иван Ильич бросил об стол нож и вилку, вскочил и замахал вокруг себя руками:

– Не смей! – кричал он. – Не смей такого спрашивать!

На крик вбежал мальчишка-казачок: он решил, будто напутали с закуской, но, увидав Ивана Ильича, быстро понял, что к чему, и попятился.

– Стой! – рявкнул ему Иван Ильич. – А ну стели мне в кабинете – не буду с этой спать!

– Ка-ак же, Ва-аня, – тянула Прасковья Федоровна, – ведь осталось-то ничего – сегодня ночь да за-автра. А ты – в кабинете...

– Стели-стели, – гнул свое Иван Ильич, – а то пугать придумала, – и вдруг схватился за бок и накренился. Прасковья Федоровна визгнула, казачок подбежал, усадил Ивана Ильича в кресло. Иван Ильич захрипел, перешел с хрипа на стон, со стоны на рев; потом разом выпрямился, выдохнул и опять обмяк.

– Ну, сука, – выговорил он наконец, – с тобой и до вторника хер доживешь.

Спустя полчаса, одетый казачком в пижаму, он лежал, уставившись в потолок спальни, и думал, что вот уже понедельник, а там – «И не забыть теперь, – злился он, – ну до чего же сука». Он пробовал отвлечься, вспоминал дословно ответ, затем уговаривал себя, что большая победа, что иначе и быть не могло, что в бумагах полный порядок, и даже с приемщиком повезло, – но мысли возвращались к кусочку красного пластика, оставшемуся внизу, на этажерке с яблоками. «Как не ври себе, а для бессмертия придется помереть. – Он услышал, что вошла жена, и зашуршала сорочка, потом ощутил ее рядом, тяжелую, плотную. – Сколько же в ней, суке, здоровья, а то бы ее обессмертить – и спросить потом,

не страшно ли». Так он мучился еще часа два – и, совсем измучившись, уснул.

Снились ему нити жабьей икры в пруду, мамин поцелуй в темя, вода, застывшая потеками на окне летней кухни, иллюстрированный Ларусс на полке, густой и вонючий воздух вагона. Он проснулся в двенадцатом часу, схватил рукой пустоту: жены не было, на трюмо горел удвоенный зеркалом букет маков. Тут же у вазы лежал ярлычок из красной пластмассы: Иван Ильич поморщился, перевернулся. В боку не болело: он сам, без казачка встал, надел на пижаму халат, вышел из спальни. Завтракать подали блины с вареным из ранеток; он попробовал и понял, что сладкого не хочется. Тут же поставили сметану и горчичное масло, и следом сморчки из вчерашней банки: Иван Ильич взглянул на них коротко. Аппетита не стало.

Он пошел через сад, то и дело замечая казачка где-нибудь неподалеку: видно, мальчишке велели смотреть за Иваном Ильичом – нельзя же и вправду помереть, когда получен вызов на завтра. Прогуляв больше часа (ветер с реки был пользителен – выдувал мысли), Иван Ильич крикнул казачку:

– Поди узнай, воротилась ли Прасковья Федоровна.

Прасковьи Федоровны не было, и просить ее по айфону, узнавать, куда она двинула с самого утра, не хотелось. Иван Ильич побродил еще между ровными кустами тутовника, которые сам обрезал дважды в год, потом опять поманил казачка и спросил:

– Чего ты, не устал за мной глядеть?

Казачок смутился:

– Дык сказано глядеть – и гляжу.

– Вот еще, сказано, – фыркнул Иван Ильич, – а ты поди займись делом. Как воротится Прасковья Федоровна – обедать будем.

– А нету дела, – ответил казачок, – покуда барин спали, мы всяких делов переделали.

– Вот и займись тогда чем хочешь.

– Ничем не хочу, – заулыбался казачок, – хочу на вас глядеть.

Ивану Ильичу вспомнился сон: полка с книгами, пруд, летняя кухня. Он опять спросил:

– Чего же ты, всю жизнь на меня глядеть будешь?

– Не-е, всю жизнь не буду, – затряс головой казачок. – Барыня сказали, что вас скоро бессмертным сделают, – я тогда в ОМОН пойду.

Иван Ильич засердился:

– Вот и хватит болтать – болтунов в ОМОН не берут.

Прасковья Федоровна вернулась в два: стриженная, с окрашенной сединой. Отобедали, сели на веранде смотреть кино: Иван Ильич любил Тарковского, но сегодня «Иваново детство» казалось ему слишком уж тоскливым. Наконец он не выдержал, цыкнул на проектор – кино растаяло, веранда опустела. Прасковья Федоровна потерялась с секунду, но не спросила и даже виду не подавала, что расстроилась, – отвернулась в сад и сидела так, пока не позвали полдничать.

Иван Ильич полдничать не пошел: смотрел в никуда и думал, что вот кому-то в ОМОН, а кому-то обрезать тутовник в апреле и сентябре. А кому-то хуже: помирать всю ночь от боли в боку, трижды просвечивать желудок, почти месяц подбирать обезболивающее, потом глотать какие-то трубки, ложиться под лазерный нож и отныне чувствовать жженный запах, идущий, кажется, изнутри, из-под кожи; потом составлять бумаги, просить людей, знакомцев и незнакомых, чтобы помогли с тем-то и вот с тем-то, и наконец ждать, когда вызовут, и, дождавшись, смотреться в крохотный кусочек собственного бессмертия, в маленький красный ярлычок – все это придется делать кому-то, а не ему, не Ивану Ильичу: Ивану Ильичу уже ничего не придется – от этой мысли он вдруг негромко завыл, и на веранду тотчас выскочил казачок.

– Ну-ка пшел прочь, – неуверенно крикнул ему Иван Ильич. Казачок пропал, но позвал Прасковью Федоровну: она села рядом, стала гладить Ивану Ильичу затылок, рассказывая про вчерашнюю службу в Липках, про рецепт блинов по-польски, про нового цирюльничего на краю Москвы.

– Это где же? – спросил вдруг Иван Ильич.

– Через Оку переехать – тут и будет, – ответила Прасковья Федоровна. – На Серпуховском затоне.

Ночью снова сны, наутро мысли – обо всем подряд, вперемешку: о тутовнике, об электричках из детства, о Тарковском. Полвосьмого у ворот поставился извозчик; Иван Ильич все вошкался с левым чулком – придиричиво расправлял его на ноге, от щиколотки к колену, от щиколотки...

– Поспешил бы, – сказала Прасковья Федоровна, уже одетая, – на Симферопольском, поди, пробки.

Но Симферопольское мелькнуло быстро, и на Варшавском почти не стояли – только в Пятое кольцо с трудом вклинились, но по кольцу поехали с ветерком. «Экое блядство, – сказал себе Иван Ильич, – еще с час прожду, пока вызовут». Прасковья Федоровна все говорила что-то извозчику – неуместное, неумное: где повернуть, в каком часу будет дождь, когда поднимут прайс на парковку; Иван Ильич не смотрел на жену и мечтал вдобавок не слышать.

Институт стоял на Головинской, непроницаемый, без единого окна, зажатый между прудами и рекой, отражаясь в них всеми четырьмя шершаво-серыми гранями. В вестибюле, выстроенном в двадцатые, когда вдруг случилась жажда на все советское, пестрела в десять человеческих ростов мозаика: пожилой ученый морщится в инвалидном кресле, а за ним облысый старик в очках и плечистом пиджаке – стоит и держит над головой ярлычок, еще плоский и сизого цвета (и называвшийся тогда смешно и точно – мозговым протезом). Ивана Ильича с женой посадили в приемной, где обошлось без мозаики, но по стенам, точно плющ, бежали строчки: «Технологии – продолжение наших тел». Или: «Сохрани своему сознанию жизнь». «Жизнь, – повторил про себя Иван Ильич, – какая тут жизнь. А если я хотел жизнь прожить художником, если я все ждал, чтобы взяться, скажем, за гармонию, а хоть бы даже ОМОН – где мне взять такую жизнь, омовскую? Так и соскребут в ярлычок одно сознание. А на кой мне его? – никто не скажет».

Через полчаса вышла медсестра: благодушная, улыбающаяся. Спросила:

– Иван Ильич?

Иван Ильич кивнул: во рту пересохло, сказать не получалось.

– Отлично, – продолжила медсестра, – положительно отлично. Портатив в наличии?

Иван Ильич растерялся, потом сообразил и достал из нагрудного кармана ярлычок:

– Вы про это?

– Положительно отлично, – повторила медсестра, взяла ярлычок, что-то надавила на одном ребре – и от шестигранника отделилась крышечка. – Теперь проследуйте с портативом в выделительный отсек.

Потом она повернулась к Прасковье Федоровне:

– А вы ожидайте – через два цикла заберете готовый резерв.

«Резерв, – думал Иван Ильич, отыскивая среди неоновых табличек в коридоре выделительный отсек, – вот ведь и название мне придумали: нерабочее, ненужное».

В выделительном отсеке была белая, фенолом пахнущая пустота. Медсестра вошла через минуту, вывела на стену светящийся экран, поправила что-то в конфигурации.

– Я теперь устранюсь, – сказала она Ивану Ильичу, – а вы контрибутируйте мочу в портатив. Трех минут достаточно?

– Для чего? – не понял Иван Ильич.

– Для контрибутива.

Иван Ильич долго смотрел в медсестру.

– Это поссать что ли? – наконец сказал он раздраженно. – Достаточно.

– Положительно отлично, – кивнула медсестра и ушла. Иван Ильич поглядел внутрь ярлычка – темнота: пластмассовая, чуть красноватая. Потом достал член, приладил его к отверстию; крышечка неприятно давила на головку. Ссать не хотелось.

«Вот не поессу, – улыбнулся сам с собой Иван Ильич, – и не будет мне бессмертия».

Вернулась медсестра, взяла у Ивана Ильича ярлычок: крышечка закрыта. «А ну если проверит?» – струсил вдруг Иван Ильич, но медсестра не проверила:

– Теперь в дезинтеграционную – вас ожидают.

Коридор все закруглялся – Иван Ильич зачем-то вспомнил «Солярис», а потом пруд и летнюю кухню и

отцовский Ларусс... Он уже лежал, щурясь под желтой
филаментной лампой, а рядом, в никелевом штативе,
мерцала тонкая стеклянная игла. Чья-то рука помести-
ла над ним ярлычок – тускло-красный, пустой – а потом
раздалось у уха: про короткий укол, про портатив, про
начало копирования. Внутри ярлычка ударил луч, штатив
пришел в движение. Все случилось в несколько секунд, но
Иван Ильич еще успел увидеть, как вода ползет по стеклу,
постепенно твердея, будто небольшое полупрозрачное
деревце, растущее голыми ветками вниз. Игла прицелилась
и стремительно поцеловала в темя, и ничего не осталось.